

О смысле бытия (семиотического объекта)

А. Ю. АНТОНОВСКИЙ

Доклад М.А. Розова поднимает существеннейшую из проблем — проблему природы семиотических объектов. Правда, тут же оказывается, что под это понятие подверстывается чуть ли ни весь мир культурных артефактов — знаки, знания, научные теории, литературные произведения, и как выясняется под конец статьи, вся «феноменология деятельности». И у всего этого многообразия смыслов, утверждают Розов и Соссюр, нет субстанции. То есть то, как они явлены нам, то, из чего они составлены, не связано с тем, чему они служат. Материал вещи безразличен для ее функции; семантика слова или знака выражается самыми разными способами, идет ли речь о материальном наполнении (звуковые волны, чернила) или о синтаксическом сопряжении тех или иных знаков для выражения одной и той же мысли или смысла. Такова проблема — смысл свободен от своих феноменологически или эмпирически фиксируемых манифестаций.

Правда, эта проблема предстает у Розова в несколько тривиализированном виде — как фиктивность или сказочность реальности, обозначаемой знаковыми системами, романами, сказками, теориями и т.д. Ведь «Вальтер Скотт» существует, а Вальтера Скотта уже нет. И если это так, то смысл как таковой действительно не поддается никакой фиксации, поскольку не имеет коррелята в реальности, лишен субстанциальной опоры. Все, с чем мы сталкиваемся, — это лишь материальные или синтаксически определенные выражения ускользающего смысла.

Какое же решение предлагает Михаил Александрович для проблемы поисков субстанции смысла? Все очень просто: сотворенные

83

обществом объекты, предметы жизнедеятельности, продукты (т.е. все то, что образует субстанцию знака), по его мнению, тождественны самим знакам или семиотическим объектам, ибо порожденные обществом продукты суть куматоиды, воспроизводимые образцы, которые передаются от поколения к поколению, словно эстафетные палочки бегунов. Поколения меняются — палочки остаются. Так, по мнению Розова, семиотические объекты обнаруживают свою субстанцию. Теперь можно приступить и к экспликации таинственных и ускользающих смыслов, обнаружить которые отныне означает зафиксировать этот куматоидный, воспроизводимый, волновой, ролевой, образцовый, транслируемый в поколениях характер тех или иных порожденных человеческой деятельностью объектов.

Но решена ли проблема? Очевидно, нет. Та безразличность знака к его материальности, его свобода от феноменологии, вначале понимавшаяся как нерешенная проблема семиотического объекта, теперь возводится в ранг его критерия. Назвать семиотический объект куматоидом еще не означает обнаружение таинственной субстанции знака. Скорее, это понятие выражало бы его замкнутый, самореференциальный, несубстанциальный характер.

Меня настораживает всеохватность куматоида. Это и семиотический объект, это и социальная роль, это и программа, и своего рода нестрогий алгоритм, который выполняют члены общества. Речь же, в сущности, идет о том, что в социологии называют ожиданиями или социальными структурами. Воспроизводимые речевые структуры, акты, жизненные ситуации, объекты действительно можно назвать куматоидами: паттернами, повторяющимися конфигурациями, независимыми от их «материального наполнения», от того, кто их выражает, от конкретности вызвавших их ситуаций. Куматоиды — это генерализированные и типизированные случаи и соответствующие им ожидания: снесли все дома на улице, а улица сохранила имя и отчасти — пространственное положение. Пусть это так. Ну и что? Зачем понадобилось вводить новое понятие куматоида, когда существуют понятные и устоявшиеся понятия, например, понятие социальной роли? Социальное место (роль) замещается людьми, которые приходят и уходят, притом что сама роль (место) в ка-

ком-то смысле остается неподвижной. Или понятие куматоида имеет ценность всего лишь эвристической метафоры? То есть волна «бежит» через «колеблющиеся материальные частички», сохраняя конфигурацию и тем самым получая независимость от образующего ее материального состава примерно в том же смысле, в каком роль остается той же самой, несмотря на смену замещающих ее индивидов? Но что нового в

84

том, что структуры существуют относительно независимо от их элементов и переживают последнее во времени? Это известно еще со времен Аристотеля и его учения о связи материи и формы как оснований идентичности любой вещи. И то, что слова языка тоже являются такого рода структурами, само по себе не так интересно, а, скорее, тривиально. Но традиционное понятие роли, мне кажется, обладает даже большей иллюстрирующей силой.

Более интересным, на мой взгляд, был бы вопрос о функции такой вневременной стабильности семиотических объектов. Ведь они — именно в силу своей стабильности — делают возможной ориентацию в непрерывно изменяющемся мире, а значит, этим структурам-куматоидам-паттернам-формам-программам-образцам ничего не соответствует в этом мире именно в силу их функции: остановить мгновение, выйти за пределы непрерывно-меняющейся конкретности ситуации. Куматоиды не зависят от субстанции (скажем, от подвергающегося колебаниям материала, замещающим роли индивидов), а зависят лишь от других куматоидов и возникающей интерференции. А это влечет за собой непосредственные импликации для теории истины.

Михаил Александрович рассматривает общество, где семиотические объекты транслируются в ходе коммуникации. Но у этих паттернов, программ, образцов вербальной коммуникации, понимаемых как куматоиды, действительно нет коррелята во внешнем мире вербальной коммуникации. Ведь внешний мир коммуникации — это текучий мир восприятия, который она описывает и благодаря этому описанию словно замораживает или стабилизирует, превращая в слова или понятия. Есть образцы, но непонятно образцами чего они являются. Это, собственно, и следует из функции вербальной коммуникации. Мы оперируем так, как будто у семиотических объектов, знаков, слов или имен есть значения, как будто за синтаксисом есть семантика, или, что то же самое, как будто за каждым словом скрывается устойчивый, обозначаемый им объект, который можно представить в развернутом виде, обратившись к более развернутому определению или дескрипции этого имени, т.е. к его смыслу.

Это и есть тот самый логический треугольник, который становится таким откровением для каждого первокурсника философского факультета. Мы оперируем так, как будто бы мы в нашей языковой коммуникации можем вырваться за пределы этой языковой коммуникации, прорваться в мир значений и мир объектов, не опосредованный коммуникативно, не опосредованный синтаксически. Если бы это было возможным, задача поиска субстанции

85

семиотического объекта была бы выполнена. Но любое значение, любой объект, любой смысл предстает перед нами исключительно в виде языкового выражения. Розов и Соссюр озабочены разрывом граней логического треугольника, делающим невозможным движение от вершины к вершине: от знака к смыслу-дескрипции и денотату, и в этом разрыве, им кажется, состоит проблема. Но парадокс заключен в другом. Все вершины логического треугольника совпадают: обозначаемое живет в обозначающем и не может вырваться из последнего. То же самое относится и к дескрипциям.

Здесь очевидным и прагматически оправданным становится иное определение смысла. Смысл есть то, что связывает одно языковое выражение с другим языковым выражением. Смысл — это то, что обеспечивает продолжение вербальной коммуникации. Но это продолжение обуславлива-

ется конечно же не синтаксисом (грамматикой) языка, который позволяет сказать очень многое, оставляет открытым, хотя и всегда несколько ограниченным, горизонт¹ любого семиотического объекта, любого произнесенного или написанного слова. Поэтому-то грамматика и не является программатикой.

Если ставить вопрос о бытии или, лучше сказать, о способе существования семиотических объектов, как это делает Розов, то единственным способом ответить на этот очень высоко абстрактный вопрос было бы указание на то, что знак существует, принимая разные синтаксические формы (сочетания слогов, слов, предложения) и материальные облачения (звуковые волны, чернила и т.д.). Причем исследование отношения этих составляющих ничего не дает для понимания знаков, а лишь подводит к обсуждавшимся выше парадоксам «отсутствия субстанции» и «нереальности знака».

Если же ставить вопрос о смысле семиотического объекта в предложенном смысле, т.е. о смысле знака как о потенциале подсоединения знаков друг к другу, то такое понимание делает возможным эмпирическую фиксацию смысла. Ведь мы можем теперь начать эмпирический анализ смысла знака, т.е. ситуации, где некоторые выражения подсоединяются к тому, что уже было произнесено или написано, а другие выражения — нет, т.е. бессмысленны

¹ Горизонт семиотического объекта, знакового выражения представляет собой весь объем возможных подсоединяющихся выражений. При этом горизонт письменного или записанного знака всегда шире горизонта устного выражения, горизонтов произнесенного слова в силу того, что письменная коммуникация высвобождается из-под давления со стороны собеседников, давления временного дефицита ситуации. *Рукописи не горят* именно поэтому.

в данном контексте, в данной беседе, в данной ситуации, в данной социальной системе. Например, к производству искусства как знаку бессмысленно применять истинностные характеристики (т.е. ставить вопрос о том, насколько правдиво, реалистично, истинностно оно отражает жизнь), ибо последнее предложение должно было бы (неважно насколько правомерно или адекватно) интегрироваться (подсоединиться) в иной, скажем, научный тип дискурса, бессмысленный в данном контексте искусства.

Вообще, рассуждения Михаила Александровича базируются на странной предпосылке: он знает, что нечто относится к семиотическим объектам, но не знает их «способа бытия». Но возможна ли такая ситуация, когда, не зная способа бытия («родовой сущности», «критериев различения»), можно отличить одни, в данном случае семиотические, от других, несемантических объектов? Это связано с очень распространенным заблуждением — твердой уверенностью, что семиотические объекты могут быть выражены или существовать как-то иначе: несинтаксически, внеобъектно — так, что можно было бы эксплицировать смысл «an sich», как он существует сам по себе. Отсюда вытекает и другое заблуждение — уверенность, что существуют несемантические объекты, попросту говоря — бессмысленные вещи, а значит, можно расколоть мир на сферу семиотического и того, что таковым не является. Но так ли это? Можно ли наблюдать несемантические объекты, или сам факт наблюдения уже переводит их в разряд смысловых реалий?

Подведем итог. Мы не ставим вопрос о способе бытия семиотического объекта, о поиске субстанции знаков, об отношении знака и того, что он означает, как это делает Михаил Александрович, ибо это выводит дискуссию из сферы собственно семиотического и, скорее, представляет собой классическую эпистемическую проблему отношения знания и реальности. Мы ставим вопрос собственно о смысле семиотических объектов, понимаемом как мера, которая определяет подсоединение одного знака к другому в горизонте всех возможных подсоединяющихся знаков или выражений. Мне представляется, что адекватным, а может быть, и единственно возможным определением смысла было бы его определение как потенциала подсоединения одного выражения к дру-

гому. Предложение имеет смысл, если оно более или менее осмысленно вытекает из предыдущего, или, по меньшей мере, субституирует его в следующий момент времени, и такая субституция акцептируется участниками коммуникации безотносительно к тому, насколько эта подсоединяющаяся коммуникация «действительно»

87

вытекает из предыдущей. Смысл в равной степени может быть приписан и простому слову, если оно вписано в контекст предложения, и предложению, если оно входит в контекст предшествующих и возможных рассуждений, и человеческому действию или коммуникации, если они подсоединяются к прошлым или ориентированы на будущие действия и коммуникации.

Если смысл определять феноменологически, т.е. как актуальный выбор следующей операции (выбор следующего наблюдения, слова, предложения, коммуникации) в горизонте потенциальных операций, не реализовавшихся в силу самого уже состоявшегося выбора, то становится понятным, что несемiotических объектов вообще не бывает. Или, что то же самое, несемiotические объекты недоступны наблюдению. Все, что наблюдается, может быть вписано в контекст наблюдения, а значит, иметь смысл — т.е. либо стать следующим предметом наблюдения (со всем многообразием референций к другим наблюдениям), либо получить статус потенциального объекта наблюдений в горизонте наблюдающей системы. Повторимся: все, что наблюдается, указывает на что-то другое, имеет веер референций, а значит, делает возможным подсоединение следующих наблюдений или операций, имеющих смысл по отношению к уже состоявшимся или будущим, и именно поэтому актуализирующимся в горизонте возможностей. Езда на зеленый свет, очевидно, имеет смысл, но и езда на красный свет имеет свой собственный смысл.

Проблема, которая волнует Соссюра и Розова, состоит в том, что «диспозициональность текста», а попросту говоря, понятность системы знаков, никак не связана или жестко не вытекает из композиции его элементов самой по себе безотносительно к его реципиенту или адресату. Но является ли это проблемой? А не является ли этот парадокс тривиальным выражением того факта, что понятное понятно тому, кто понимает, и непонятно тому, кто не понимает?

88